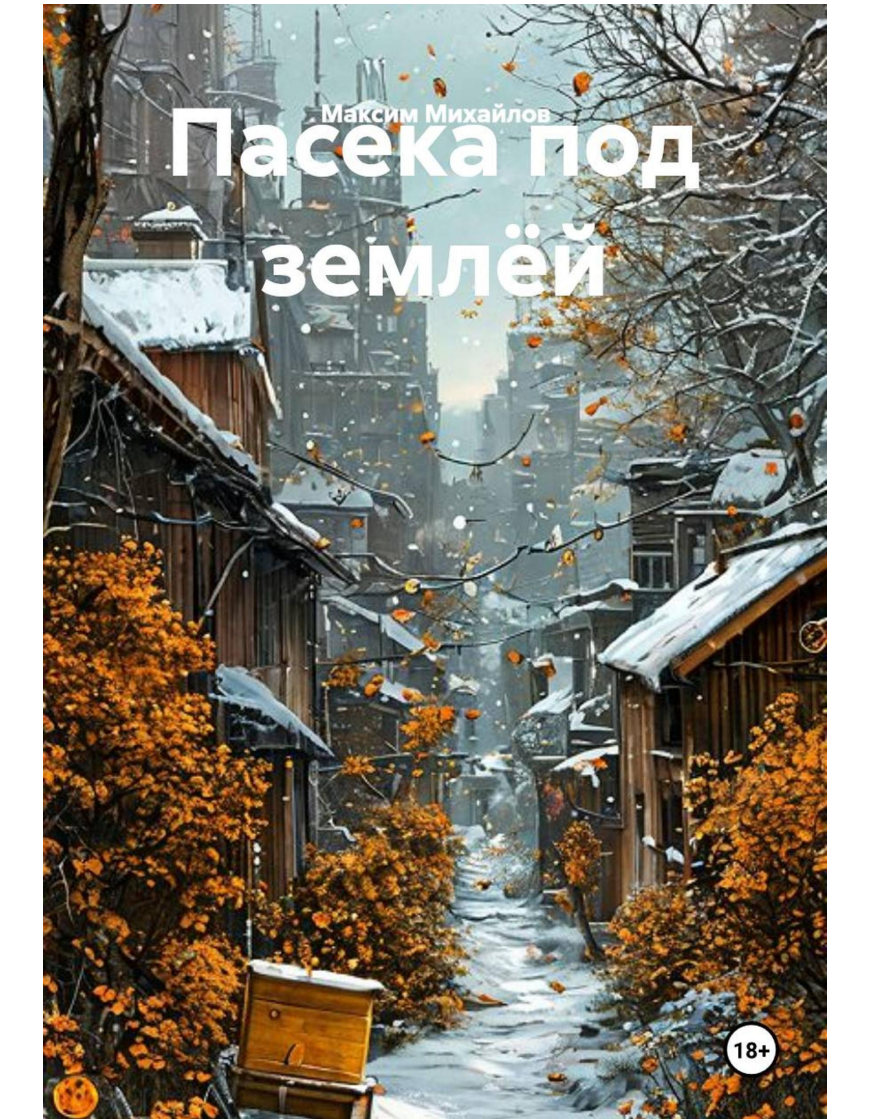




Максим Михайлов

# Пасека под землёй

18+

# Максим Михайлов

## Пасека под землёй

<https://litres.ru/74323759>

SelfPub; 2026

### Аннотация

«Пасека под землёй».

Там, где не должно быть жизни, она всё равно собирает свой мёд.

Февраль пытается похоронить город под снегом. Статистика шепчет: «два из десяти». А она просто держит крошечную ручку и учится дышать так, чтобы не разошёлся шов.

Это не про спасение. Это про то, как жить, когда тебя уже спасли. И как выжить, когда самое страшное только начинается.

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Пролог. Дом, где не гасят свет    | 4  |
| Глава 1. Февраль сошел с ума      | 14 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 28 |

# Максим Михайлов

## Пасека под землёй

### Пролог. Дом, где не гасят свет

Здравствуй, кто бы ты ни был — дорогой читатель со светом в руке или огорчённый на жизнь до тяжёлого, горького кома в горле. Я всё равно говорю: здравствуй.

Ты сейчас наверняка морщишься. Смотришь на эти строки с лёгким презрением человека, которого обманули, как школьника: ты купил билет в первый ряд, ожидая, что магия хлынет с этих страниц, как вода из прорванной трубы, заливая твой старый линолеум. Думал, начнётся экшен: погоди по мокрым крышам под секущим дождём, заложник в багажнике старой «Волги» или хотя бы эльфы, размахивающие световыми мечами где-нибудь на Невском. А тут какой-то псих взял да и начал роман просто со слова «здравствуй».

Я буквально слышу твой вздох через пространство, сквозь километры оптоволокну и типографскую краску. Ты уже в шоке. Наверное, уже мысленно кинул в меня камень. Или тяжёлую чугунную пепельницу с прикроватной тумбочки.

Почему я выбрал этот нелепый, школьный, абсолютно немодный метод вхождения в книгу? Да потому что каждый день, несмотря на настроение — будь то туманная депрес-

сия, при которой трудно поднять руку за кружкой, похмелье от вчерашнего ослепительного счастья или просто желание вернуться в старый шерстяной плед и перестать думать о плохом, — мы, увидев кого-то, говорим это слово: «Здравствуй». Или «До свидания». Это базовый протокол обмена теплом. Базовая настройка человечности.

Ты теперь мой гость. Не статистическая единица продаж для издателя, не строчка в отчёте маркетолога, который спит и видит конверсию твоего кошелька в свой отпуск на Бали. Ты — гость! А я должен тебя встретить как истинный хозяин и просто человек, у которого сегодня невыносимо гудит затылок и пульсирует правый глаз.

Разуваться не обязательно, но если хочешь — тапки там, под вешалкой. Проходи, располагайся. Чувствуй себя как дома. Вон то старое кресло в углу, которое обычно не скрипит, — садись туда, если хочешь. Будь со мной, и посмотрим, что там дальше. Может быть, впереди вообще ничего нет, кроме глухой бетонной стены, но идти к ней лучше вместе, чем одному в пустом коридоре.

— Илюшка... Пап, ну пааап! Ну сколько можно стучать?— Тише, мышонок. Потерпи чуть-чуть. Дай папе ещё десять минут тишины, а? Ровно десять минут абсолютного вакуума. Я занят. Голова гудит, как улей. Освобожусь скоро, пойдём на кухню, возьмём твои цветные фломастеры, будем красить и решать задачки про бассейны и две трубы. Кто быстрее наполнит, кто быстрее сольёт. Представляешь? Ты

будешь сливать — тебе всегда нравится разрушать плотины. — У меня терпение кончилось! — кричит он тонким, ломким голосом из-за двери детской. — И батарейки в планшете тоже! — Иди пока построй мне башню до самого потолка. Из красного кубика вниз, синий на синий. Чтобы она рухнула ровно в тот момент, когда под пальцами появится нужное слово. Обещаю: если башня упадёт раньше времени — я куплю тебе ту железную дорогу с семафором. Слово отца.

Мы остановились прямо здесь, в пятне синего света от монитора. Именно здесь, друг. Прямо в этой точке пространства, где заканчивается коридор и начинается моя кухня.

Что делать, если мир снаружи стал невыносим? Правильно — строить свой. Для меня книга — это просто дом. Самый честный ответ из всех, что у меня есть. И ты сейчас оказался внутри. Иногда коммуналка с вечно скандалящими соседями за картонной стеной, которые делят конфорку на плите. Иногда холодный склеп, куда приходят плакать по ночам. Но чаще всего — просто чей-то дом. Где темнота раступается, пропуская тебя внутрь. И ты оказался у моего.

Чувствуй себя как дома, но будь готов к тому, что пол предательски скрипнет второй слева паркетинной. Он всегда предупреждает, когда я среди ночи иду делать чай себе или достать из кухонного шкафчика ту самую любимую шоколадку.

Я молча отдёргиваю штору. За окном глухой август. Вот уже темно — 22:00. Тихая ночь конца месяца. Неподалёку от станции метро «Международная» редет поток людей: всё

меньше теней скользит по асфальту, остаются только молодые пары, пробующие любовь на вкус. Луна где-то спряталась за типовыми высотками. А фонарь во дворе опять моргает нервной эпилепсией, бросая на потолок моей комнаты рваные, дёргающиеся тени листвы.

За окном настойчиво, с периодичностью метронома, стучит жестяной подоконник — это старая, уставшая липа задевает жёсть сухими листьями.

Отпускаю ткань. На столе ждут две дымящиеся кружки — я успел сделать чай нам обоим, пока ты смотрел в окно. В комнате пахнет свежесваренным шиповником, интересными книгами, которые хочется дочитать и тем самым специфическим запахом конца лета, когда ночи становятся чуток осязаемо холодными, требуя достать с антресолей свитер, а кожа просит закрыть окна, отрезая уличный шум.

— Знаешь, друг... я сегодня так загорелся этими идеями. Носился по квартире, размахивал руками, пугал кота Персика. А он сидел на шкафу, выгнув спину дугой, и смотрел на меня как на умалишённого. — Почему Персик? — можешь спросить ты. — Ну, во-первых, он толстяк, круглый и сладкий, как сам фрукт.

Как начать? Что написать? Откуда черпать информацию, фактуру, подсказки? Знаешь... сердце помогает. Оно всегда меня окрыляет этим глупым, иррациональным гулом прямо в горле, перекрывающим логику и остатки здравого смысла. Когда оно бьёт в рёбра изнутри, пальцы сами начинают вби-

вать текст в клавиатуру, промахиваясь мимо букв.

Ты уже устал от моего вступления. Я вижу твою виртуальную тень на стене, переминающуюся с ноги на ногу. Тебе хочется действия, сюжета, движухи. Хочется, чтобы маньяк с топором выпрыгнул из ванной хотя бы на пятой странице. Ну потерпи ещё пару абзацев. Буквально три страницы чистого воздуха. Позволь немного своего личного, украденного у сна времени побыть рядом. Просто посидеть плечом к плечу в этой тишине съёмной квартиры, где кондиционер сломался ещё в прошлом июле, но на новый денег никак не выкроить.

Я пару дней думал — начинать писать или нет. Тупо смотрел в мигающий курсор. Слышал, есть такой диагноз — боязнь белого листа. Стоит перед глазами эта слепящая, наглая пустота, и кажется, что если положишь на неё первое слово, оно прозвучит слишком жалко. Так звенит в ушах комар, мечущийся под стеклянной банкой.

Я же считаю иначе. Если душа болит так, что трудно дышать полноразмерными лёгкими, воздух застревает в трахее стеклянной пробкой, или веселится так, что кости становятся невесомыми и хочется взлететь под потолок — ничего не остановит. Ни отсутствие плана, ни страх критики, ни пустой банковский счёт, ни уведомление от судебного пристава. Нужно просто взять и написать. Обрушить всё это на бумагу, пока не станет легче нести собственный вес вертикально.

— Илья, скоро папа придёт, хорошо? Убери телефон, а?



Положи экраном вниз. Я допишу главу, честное слово, осталось пару предложений, и придумаю тебе сказку про летающий трамвай. Он маленький, синий и возит звёздочек спать. — Сказку потом! — гудит он обиженно. — Я хочу сейчас! — Ложись, пупс. Накройся одеялом с динозаврами, они тебя защитят. Динозавры плохих писателей едят первыми — папа статистику проверял.

Я вижу, как ты смотришь на эту вторую слева паркетину. Чувствую спиной твоё раздражение. Бесконечный монолог хозяина растяпы. Забыл купить пирожных, а теперь пытаюсь продать тебе историю чужого человека вместо угощения.

Кто же я такой? Да всё правильно: хомо сапиенс. Тридцать два года, залысины уже блестят в синем свете монитора, как лёд на Ладогe. Папа вот этого чудо-ребёнка. Он сейчас сопит в соседней комнате, уткнувшись носом в подушку с динозаврами. Ждал обещанную чёткую сказку. А сам уже во сне слышит космические мелодии...

И постараюсь быть не просто автором для этого романа, сухим демиургом,двигающим фишки по расчерченной карте. Постараюсь быть твоим другом, гидом. Тем парнем с дешёвым пластиковым фонариком, который сам до смерти боится пауков в подвале старой дачи, но лезет туда первым, подсвечивая гнилые доски, чтобы вам не было страшно идти следом.

Я постараюсь быть меньше. Меньше суеты, меньше этих рефлексий между строк, меньше извинений. Хотя кого я об-

манываю. Меня самого трясёт мелкой дрожью предвкушения и ужаса. Я тоже переживаю, чёрт возьми, как таксист на экзамене в ГИБДД: получится ли мне передать все эти вибрации воздуха? Удивить вас, может быть. Заставить посмотреть на свои ладони. Или просто приласкать сюжетом, как шершавой отцовской ладонью по голове, когда очень плохо и мир сжимается до размеров спичечного коробка.

Ладно. Хватит стоять столбом. Пойдём на кухню, там хотя бы чайник живой. Я прохожу первым. Только свет зажигать не будем — отсюда, от экрана моего ноутбука, тянется синее марево. Его хватает, чтобы видеть очертания мебели и не наступить на кота. Осторожно, здесь порожек. Чуть левее. Споткнулся? Ничего... Ангел хранитель просто неуклюжий.

Знаешь, почему я начал именно так? Со слова «здравствуйте»? Потому что правила придумали те, кто боится живого человека по ту сторону бумаги. Им нужен чек-лист: экспозиция на пятой странице, триггер на десятой. А если моя арка — это просто попытка завтра утром найти в себе силы завязать шнурки не сидя на пуфике в прихожей? Если мой главный конфликт — это война за последнюю чистую ложку в раковине перед работой? Они скажут, что это не литература. Это быт. Грязь. Скрежет зубовой о кафель жизни. Пускай говорят. Мне нет дела до их золотых статуэток и шорт-листов премий. Там сидят люди, забывшие запах помолодевших деревьев после июльского ливня.

Рукопись должна дышать. Она может икать, кашлять, де-

лать долгие паузы, глядя в одну точку. Ей можно быть некрасивой. У неё могут дрожать руки. Главное — чтобы она была честной. Когда ты пишешь правду о том, как у тебя гудит затылок и пульсирует правый глаз, мир на другом конце оптоволокна вдруг перестаёт чувствовать себя таким безнадежно сломанным механизмом. Кто-то там, кутаясь в плед, читает про твой гулкий затылок и выдыхает. Впервые за неделю выдыхает полной грудью. Ради этого выдоха всё и затевалось. Не ради Букеровской премии. Да какие там премии... У меня нет на это ни сил, ни кожи нужной толщины. Я просто пытаюсь пережить собственную жизнь и не сойти с ума в процессе. Ради одного тихого «выдохнул»!

Слушай, друг. Я раскрою тебе ещё один секрет. Я написал пару глав. И хочу писать дальше не потому, что мне нужно сдать дедлайн или закрыть ипотеку. Я пишу просто потому, что хочу, чтобы мир на чуток изменился. Естественно, в хорошую сторону. Чтобы градус общей глухоты и взаимного раздражения упал хотя бы на полделения вниз по термометру.

Ещё раз обещаю: я — автор — буду появляться меньше. Этот голос в твоей голове скоро станет тише, он отступит в тень, уступая место самим событиям. У тебя уже нервы не сдают от моей бесконечной болтовни, я чувствую твоё виртуальное плечо, которое хочет меня легонько отпихнуть. Иди уже, мол, покажи историю.

А ты думаешь, я не нервничаю, когда это всё пишу? Когда

в сердце всё гудит натянутой струной, которая вот-вот лопнет с жалобным металлическим звоном? Меня трясёт мелкой, противной дрожью каждый раз, когда курсор замирает. Вдруг ты закроешь файл? Вдруг скажешь: «Ну и графоман, верните мне мои деньги и моё украденное время». Страшно до одури. Как стоять на табуретке перед огромной залой, зная, что ножки подломятся через секунду.

Но знаешь... мне лично интересно, что будет дальше. Что произойдёт, когда мы дойдём до той самой бетонной стены в конце коридора. Обнимем её ладонями? Или проломим насквозь? Пускай этот пролог останется таким, каким я его создал. Кривым, домашним, пахнущим пылью системника и теперь — нашим крепким чаем. А то ведь всегда слышу: надо всё писать согласно правилам, соблюдать трёхактную структуру, вовремя подсовывать рояль из кустов. К чёрту кусты. К чёрту рояли. Я автор. Я пишу. Моё единственное правило сегодня ночью — не дать тебе замёрзнуть в этой книге.

Вода зашумела громче, пузырьки воздуха начали стучать в эмалированные стенки чайника чаще. Сейчас он снова сорвётся на визг. Давай пересядем. Вот сюда, к столу. У меня на скатерти — дешёвый пластик, имитирующий дерево, прожжён сигаретой в двух местах ещё прошлыми жильцами. Прямо напротив твоего плеча.

Мой чай давно остыл, пока я говорил, но ты уже успел плеснуть кипятка в свою кружку и наполнить её доверху...

— Не любишь с сахаром? — Лучше без него. Так чувству-

ется вкус ночи.

И давай договоримся об одной вещи. Мы больше не будем извиняться за то, какие мы есть. Ни я — за свои залысины, тремор пальцев и долги за коммуналку. Ни ты — за то, что купил билет в первый ряд, а попал на тесную кухню на улице Белградской, где кондиционер сломался ещё в прошлом июле. Разуваться было необязательно, помнишь? Но тапки, смотрю, уже не стоят на месте! Чувствуй себя как дома.

Вторая слева паркетина предательски скрипнула, когда ты садился, — она всегда предупреждает, когда разговор пойдёт всерьёз. Полотно входной двери в подъезде хлопнуло с такой силой, что зазвенели стёкла. Где-то далеко, за типовыми высотками, наконец-то проснулась луна, мазнув по потолку узким лезвием холодного света. Август дышит в приоткрытую форточку прелыми листьями и скорой осенью. Впереди глухая стена, говоришь? Посмотрим. Пока горит синий экран, мы в домике.

Кстати, о Персике. Кажется, под кухонным шкафчиком снова зашуршало.

# Глава 1. Февраль сошел с ума

Знаешь, друг, я тебе в Прологе обещал, что стану тише. Что не буду стоять у тебя над душой и извиняться за каждую строчку. И я держу слово. Но вот эту историю... её нельзя рассказывать в тишине. Её нужно слышать. Слышать, как ветер бьётся в стекло, как звенит сталь, как наконец-то, сквозь все эти звуки, прорывается первый крик. Поэтому я здесь. Не как автор, который диктует правила, а как тот самый парень с фонариком. Я просто стою рядом. Держу свет. Смотри.

Февраль не просто лютовал — он бился в падучей, захлёбываясь собственной злобой. Небо над Каменкой провисло так низко, что казалось, шпили грустных высоток вот-вот проткнут его серое брюхо. Снег не летел и даже не валил; он стоял плотной стеной, двигался горизонтально, вбиваясь в окна квартир тысячами ледяных гвоздей.

Ветер выл на разные голоса: то басовито гудел в арках дворов, переходя на истеричный визг в проводах, то вдруг затихал на секунду, чтобы набрать воздуха для нового удара. Это была не зима. Это был какой-то первобытный хаос, пытающийся стереть город с лица земли.

Вороны исчезли. Обычно эти наглые птицы правили утренним городом, их картавый грай был саундтреком любого рассвета. Но сегодня утром двадцать первого февраля во-

ронье царство капитулировало. Птицы попрятались по чердакам и под козырьки подъездов, нахохлившись до состояния чёрных булыжников. Им тоже было страшно.

Танюша проснулась за сорок минут до будильника. Проснулась не от тревоги — тревога давно стала её фоновым режимом, запахом её кожи, — а от глухого, тяжёлого толчка изнутри. Ребёнок повернулся. Или попытался. Места внутри почти не осталось. Тридцать девятая неделя перевалила через экватор, и этот маленький узурпатор занимал всё пространство, выдавив лёгкие к горлу, а желудок — куда-то под рёбра.

Она лежала, глядя в серый потолок, слушая рёв стихии, и пыталась дышать «собачкой», как учили на курсах. Вдох короткий, выдох резкий. Паника отступает, когда контролируешь диафрагму.

«Мы вдвоём...» — мантра, которую она повторяла себе девять месяцев. — «Мы прорвёмся».

У меня будет мальчик, я назову его... Она перебирала имена, и все они были не те: одни — слишком сахарные, другие — будто высеченные на камне, холодные и чужие. Нужно было имя-крепость. Имя-щит.

Таня посмотрела на часы. Шесть утра. Спать больше не хотелось. Хотелось пить, но встать означало разбудить ту тупую, тянущую боль внизу живота, которая жила с ней постоянно.

Осторожно, стараясь не тревожить живот, Таня спустила

ноги на холодный ламинат. Прохлада обожгла пятки, отрезвляя.

И тут небо треснуло.

Это не было похоже на молнию. Молния ветвится, ищет путь наименьшего сопротивления. А здесь само полотно тьмы дало вертикальную, идеально прямую трещину. Словно кто-то сверху полоснул гигантским канцелярским ножом по чёрной бумаге.

Разрыв ослепительно вспыхнул холодным, ртутным светом, и сквозь эту пробоину упал луч. Один-единственный. Тонкий, золотой, густой, как мёд. Он прошил метель навывлет, мазнул по грязному сугробу во дворе, заставив снег искриться бриллиантовой пылью, скользнул по стеклу Танюшиной пятиэтажки и погас. Трещина сомкнулась.

Метель взвыла ещё яростнее, замечая следы чуда.

— Магия, — прошептала Таня, прижимаясь лбом к ледяному стеклу. По щекам текли слёзы — горячие, бессмысленные. Ей показалось, что это знак. Что там, наверху, видят её страх. Видят, как ей одной тяжело в этой февральской ночи держать оборону.

А потом началось оно.

Боль пришла не волнами, как пишут в книжках про материнство. Она пришла цунами. Схватка скрутила тело винтом, вышибив из лёгких весь воздух. Таня рухнула на четвереньки прямо на холодный пол, выгнув спину дугой. Десять секунд ада. Двадцать. Отпустило.



Мокрая от пота майка прилипла к спине.

— Время пришло, — прошептала она в темноту, сама не узнавая свой севший голос. — Вот оно. Сейчас.

Но вторая схватка накрыла через семь минут. И третья — через пять. Интервал стремительно сокращался.

В перерывах между спазмами, пока мозг судорожно пытался натянуть штаны поверх пижамы, разум работал холодно и чётко. Сумка собрана. Документы в папке на комод. Телефон. Скорую.

Диспетчер ответила сразу, голос у неё был сонный, профессионально-успокаивающий: — Раскрытие большое? Воды отошли? — Один палец... — Таня всхлипнула. — Кажется... Нет! — резкий короткий вскрик, пауза, тяжёлый рваный выдох. — Каменеет живот каждые четыре минуты! Спи-ну тянет так, будто кости выворачивают из суставов, я дышать не могу!

Татьяна стиснула телефон до хруста пластика. Господи, какой стыд. Пять лет медицинского университета, кафедра акушерства и гинекологии. Она сама стояла по ту сторону барьера на практике в областной больнице — подай-принеси-зажим, считала пульс роженицам, пока врачи пили кофе. Для неё это всегда была учёба. Сухой протокол. Латинские термины в карточке.

А теперь она сидела на липком полу собственного дома, подтекая слизью, и превращалась в того самого истеричного пациента, которого презирала. Она знала всё о механике ро-

дов, но тело отказывалось подчиняться диплому. Оно просто пыталось выжить.

— Диктуйте адрес. Бригада выезжает. Дышите глубоко, женщина, слышите меня? Глубокий вдох носом...

Скорая ехала вечность. Каждая секунда растягивалась, превращаясь в резиновый жгут, который больно бил по нервам. Водитель материл погоду, машину швыряло из стороны в сторону. Фельдшер, уставший мужчина с лицом цвета сегодняшнего неба, пытался прижать маску с кислородом к её лицу.

— Так, мать, слушай мой голос. Открой рот, дыши глубоко, мне нужно, чтобы сатурация не падала. Сейчас вколю спазмолитик, станет полегче. Такой бутуз сам дорогу не пробьёт, застрянет наглухо. Готовься, будет кесарево, тут без вариантов. Дыши! Вдох... Выдох...

Родильный дом встретил их тем же воющим ветром, но звук здесь был другим — приглушённым, стеклянным. Запахи ударили первыми. Резкая хлорка, озон кварцевых ламп и тот самый специфический, сладковато-железистый дух родильного отделения, где жизнь всегда ходит рука об руку со смертью.

Её раздели догола в приёмном покое. Ощущение беспомощности оглушило сильнее схваток. Стоять перед чужими людьми абсолютно голой, с огромным, чужим животом, чувствуя, как по ногам течёт что-то тёплое (воды всё-таки начали подтекать), было невыносимо унижительно.

Её сунули в выцветшую до желтизны ночнушку размером с чехол для парашютной вышки.

— Так, красавица, лезь. Ноги сюда, руки сюда. Держись за ручки, сейчас смотреть будем.

Холодные пальцы гинеколога вторглись внутрь без предупреждения. Боль была такой острой, что Таня закричала в голос.

— Да тише ты, не дёргайся, истерикой только шейку спазмируешь! — рывкнула врач. — Шейка два пальца. Слабая динамика. Экстренная операционная, готовьте. Макросомия плода, клинически узкий таз. Сама не родишь, нижний сегмент порвём. Матка так растянута, что после родов может просто отказаться сокращаться. Кесарево сечение показано. Дыши!

...Втроём?! Нет... Он ушёл. Третий убежал из её жизни. Сейчас главное — выжить самой и дать ему кислород. Если матка не выдержит такого веса и порвётся...

Предоперационная пахла бедой. Стерильная сталь инструментов, выложенных на зелёную тряпицу с пугающей геометрической точностью. Стекланный шкафчик с ампулами.

— Раздевайся полностью. Украшения есть? Зубы целы? Снимай крестик, железо нельзя.

Её привязали. Широкие кожаные ремни плотно охватили запястья. Холод металла обжёг кожу. Ремни не давали ей убежать, хотя бежать было некуда.

Анестезиолог оказался молодым, со следом от прокола в мочке уха и руками пианиста. Серьгу он снял заблаговременно — металл сейчас лежал где-то в кармане его костюма, подальше от стерильной зоны.

— Привет, командир. Сейчас станет весело. Будем считать светильники, идёт? На потолке шестьдесят четыре точки. Начали.

Укол в спину. Ледяной фонтанчик вдоль позвоночника. Странное онемение начало подниматься от поясницы вверх, словно её медленно заливали жидким бетоном. Сначала исчезли пальцы ног. Потом ступни. Колени. Живот превратился в огромный, неподвижный купол, чужой кусок мяса.

— Чувствуешь? — Нет. — Хорошо. Работаем.

Звон стали. Громкий, лязгающий, равнодушный. Звук мясной лавки. Таня закрыла глаза. Она не хотела видеть свою собственную кровь на полу. Голоса врачей теперь звучали прямо у неё над головой, отделённые лишь марлевой повязкой, — глухие, лишённые интонаций, словно говорили сквозь воду.

Последней мыслью было: зачем им маска, если я их всё равно слышу? А затем мягкая, бархатная темнота забрала её к себе.

— Давление падает. Восемьдесят на сорок. — Атропин куб. Быстро. — Выше. Она висит. — Вскрыли... Есть доступ. Тяжёлый карапуз! — Двойное обвитие. Петля тугая. — Шевелится? — Синий. Совсем синий. Асфиксия тяжёлой

степени. Воды наглотался, меконий пошёл. — Шансы? Два из десяти.

Кто-то сказал это шёпотом, думая, что пациентка спит под наркозом. Но региональная анестезия коварна — она отключает тело, но оставляет сознание ясным, чистым и ужасающе острым.

Два из десяти. Двадцать процентов. Математика смерти.

Паника попыталась взорвать грудную клетку, но парализованное тело не могло выдать ни одного движения. Оставалось только сознание. И молитва. Без имён Бога, просто животным воплем души: возьми меня. Вырежи мне сердце, сожги мои лёгкие, но ему дай вздох. Одну маленькую затяжку кислорода. Пусть живёт.

Звук спасённой жизни отвратителен. Это не мелодичное агуканье из рекламы подгузников. Это хриплый, булькающий, полный ярости и ужаса крик существа, которого предали, вытащив из тёплого мрака в слепящий холод операционной.

— Мужской. Почти четыре кг. Богатырь! — щёлкнули ножницы, обрезая пуповину. — Давление сорок на ноль! Интубируем, теряем её!

Очнулась она от запаха. Кислого, острого, животного — запаха собственного молока и детского стула. Палата интенсивной терапии плавала в тумане. Капельница ритмично цокала, отсчитывая капли. Во рту стояла Сахара, пересушенная трубкой интубатора. Язык распух.

Где мой мальчик?

Вопрос вышел беззвучным шевелением губ. Но медсестра Раиса Павловна — усталая женщина с добрыми глазами навывкате — поняла.

— Здесь ваш герой, здесь. Куда ж мы его денем такого красивого. Всех напугал, еле завели.

Спит твой богатырь.

Его положили ей на грудь. Сквозь тонкую ткань рубашки Татьяна почувствовала жар. Живой, пульсирующий, влажный жар маленького солнца. Розовенький. Не красный, как из учебников биологии, а нежный младенец с длинными тёмными ресницами, лежащими полумесяцами на пухлых щеках. Губки сложены бутонем цветка. Ангел. Самый настоящий ангел, спустившийся в тяжёлую, густую реальность реанимации.

Он завозился, смешно наморщил нос, ища источник тепла, и открыл рот. Смешно зачмокал пустыми дёснами. Этот инстинкт — поиск еды — отрезвил лучше нашатыря. Вот он. Еда... Центр новой вселенной.

Он поел жадно, работая челюстями, как маленький мужичок. Сосал сильно, властно, заявляя свои права на этот мир. Потом отвалился, сыто икнул, выпустив крошечный пузырь слюны, и мгновенно уснул, раскинув ручки в стороны. Будто сдавался этому миру. Или, наоборот, пытался объять его весь.

Память о Серёже всплыла сама собой, ядовитая, неизбеж-

ная. Он никогда не говорил «мы вдвоём». Его последними словами были: «Таня, я устал. Я не хочу быть с тобой. Это не твоя вина, но я ухожу...» — собирая вещи в дешёвый туристический рюкзак. Сказал ещё, что устал от быта, что ипотека душит крылья его творческой личности, что им нужно взять паузу. Пауза длилась месяц. Потом пикинуло сообщение: «Деньги кину на алименты. Постарайся забыть меня».

Как ножом по живому. Год назад от этих слов у неё разрывалось сердце и подкашивались колени. И сейчас было страшно и больно. Но она справилась. Она стала Мамой.

А может, совсем не любил. Эта догадка пришла только сейчас, лёжа под капельницей с зашитым животом. Любил бы — остался. Любовь берёт молоток и вешает полку. Любовь держит жену за руку, когда её режут наживо. Он выбрал другой путь — лёгкий, стерильный — путь эгоиста.

Память о нём была физической болью, фантомной конечностью. Таня мысленно взяла эту память, представила бывшего мужа — растерянного, вечно сутулого — и закрыла воображаемую дверь. На тяжёлый амбарный замок. Ключ выбросила туда же, куда улетел утренний вороний крик. Всё. Его больше нет. Есть сын. Есть она.

Мальчик стал для неё дыханием.

За окном снова бесновалась зима. Она явно была недовольна, что пропустила лучик. Выюга бросала снег в стекло с остервенением брошенной любовницы. Рисовала белые когтистые лапы, пыталась пробраться внутрь, заморозить, убить

надежду. Но стёкла в роддоме были крепкими. Между ней и той реанимационной палатой лежала уже длинная дорога. Там шла борьба между жизнью и смертью, там было минус тридцать и шансы — два из десяти. Врачи... Ей казалось, что те аисты, которые приносят младенцев, — это они. И они не сплеховали.

Здесь же, в палате — плюс двадцать пять, запах хлорки и абсолютный покой. Окна надёжно отсекали зиму. Бог их уберёг.

Пару дней она восстанавливалась. Ходить было пыткой — казалось, что внутренности сейчас выпадут на кафель через свежий шов, перетянутый аккуратными хирургическими узелками. Медсёстры были безжалостны.

— Надо, Татьяна, надо. Застой крови получите, кому оно надо? Давайте ногу, перебрасывайте. За ребёнка цепляйтесь, ради него встаёте.

Её звали всегда Танюшей, Танечка, Танька. Всегда звали. Для родителей, для близких и родных. Но только сейчас, глядя на спящего сына, она впервые примеряла это имя на себя не как одежду с чужого плеча, а как броню. Татьяна. Твёрдая буква «Т» в начале. Женщина, способная выдержать кесарево и вернуться обратно...

На пластиковой бирке, привязанной синим шнурком к крохотной волосатой лодыжке младенца, каллиграфическим медицинским почерком было выведено: *Мальчик. Род. 7.02.2006. Вес 3990. Рост 54. Богатырь.*



Заведующая отделением лично заходила посмотреть, цоккала языком и качала головой: «Как яблочко, налитое. Повезло тебе, девка, с таким весом... Сама бы инвалидом осталась». Она никогда не ходила вокруг да около. Для неё мир делился на тех, кто выкарабкался, и тех, кого статистика списала в архив. Поэтому комплименты она бросала грубовато и очень редко, как пелёнки из прачечной — сухо и по существу.

Но имени на бирке не было. Пустая графа сияла белым пластиком, требуя заполнения.

Обед привезли на скрипучей тележке — водянистое картофельное пюре синеватого оттенка, сосиска, компот из сухофруктов. Таня покормила сына (он снова ел жадно, причмокивая), уложила его в прозрачную пластиковую люльку-каталку и села на койку. Тело ныло сладкой, опустошающей болью выполненной работы.

Телефон мигнул уведомлением. Мама: *«Доченька, как ты там, родная? Я уже завтра приду. Сегодня никак, давление поднялось, трясёт всю. Врач укольчик сделал, лежу. Как там мальчик?»*

Опять мальчик. Мир сузился до этого определения. Мальчик. Сын. Наследник той трещины в небе.

Таня зашла в соцсети просто чтобы убить время, пока ребёнок спит. Пальцы двигались механически. Проматывая бесконечную ленту чужой успешной жизни — свадьбы, отпуска, новые машины — она случайно зацепилась взглядом

за рекламный баннер: *«Старославянские имена. Возвращение к корням»*.

Почему палец нажал на ссылку, она не поняла. Как провалилась. Страница открылась длинным свитком: Пересвет, Радогор, Святозар, Милорад. Древние, интересные, тайные. Она листала их, чувствуя лёгкий прилив воодушевления. Имя должно быть мягким. Чтобы гладить им по голове. Евгений? Роман? Нет, что-то не то. Многие бы уже назвали этими именами, и мозг уже хотел согласиться на Рому, но сердце не подчинялось.

И вдруг экран замер. Слово прыгнуло в лицо, ослепило белой вспышкой. Лучезар. Воздух закончился. Внутри черепа как будто появился подснежник. Казалось, весна расцвела прямо под лобной костью.

Лучезар. Свет. Зарево. Тот самый луч, который прорвал свинцовые тучи февраля. Тот единственный шанс — два из десяти.

Она сидела, боясь дышать, чтобы чудо не спугнуть. Проверила значение. «Несущий свет», «лучезарный». Да. Никаких других вариантов анатомия материнского счастья больше не принимала. Организм отвергал любые другие сочетания букв. Только это. Оно ложилось на язык мёдом, лечило ту самую душевную гниль, которую оставил после себя бывший муж. Это имя было обещанием. Если уж судьба распорядилась так, что рожать пришлось через сталь и кровь, если платить за счастье пришлось страхом — два из десяти, — то

пусть он носит имя, которое сжигает темноту.

Знаешь, друг, я вот сейчас эти строчки пишу и думаю: ведь мы все немножко так имена ищем. Не только детям. Мы ищем то самое слово, что удержит на краю. Имя, название, простое «дом», «чай» или даже просто «подожди, я сейчас» — всё это для нас якоря. У каждого свой. Для Тани этим якорем стало «Лучезар». И в нём не было пафоса. В нём была простая, упрямая надежда: пусть будет светло.

Татьяна встала. Ноги дрожали, шов тянуло огнём, но она дошагала до пластиковой люльки. Наклонилась. Сын спал, подложив под щёку сжатый кулачок. Нижняя губа оттопырилась обиженно.

Она смотрела в окно. Там, в белой каше городской зимы, выло и кружилось нечто. Стихия сошла с ума окончательно, протестуя против несправедливости бытия. Но стихия осталась снаружи. Между ними было стекло. Надёжная преграда.

Татьяна протянула руку и осторожно, самыми кончиками пальцев, погладила мягкую, горячую макушку сына.

— Спи, Лучезар, — прошептала она, и голос впервые за столько суток не дрогнул. — Спи, мой свет. Теперь мы действительно вдвоём. Справимся.

И впервые за эти бесконечные сутки она улыбнулась. Искренне, нежно, всем своим разорванным и за

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.